

## «ФИЛОСОФЫ-ШЕСТИДЕСЯТНИКИ»: ПОСЛЕВОЕННОЕ БРАТСТВО ОТЦОВ И ДЕТЕЙ<sup>1</sup>

**Э.Ю. Соловьёв**  
Институт философии РАН

**Аннотация:** В статье предпринята попытка социально-генеалогического анализа «философов-шестидесятников». Именно так в литературе последних лет именуется поколение молодых философов, которые в 50–60-х гг. минувшего века противопоставили себя господствующей догме и готовили десталинизацию общественного сознания. На первом плане – молодые интеллигенты-фронтовики, просвещенные войной. Автор рассказывает об их надеждах, уже предвещавших «оттепель»; о стоическом нравственном складе и отважном протестном поведении в научных и идеологических дискуссиях послевоенного времени. Далее обстоятельно освещается жизнь «младшей поросли» будущих «философов-шестидесятников» – школьников конца 40-х – начала 50-х гг. Особое внимание уделено пониманию учёбы как священной обязанности перед воинами-отцами и своеобразному молодёжному культу знания и науки. Начало долгосрочному неформальному сообществу советских «философов-шестидесятников» кладет дискуссия о предмете философии, состоявшаяся на философском факультете МГУ в 1954 г. Автор видит в ней смелую и достаточно успешную попытку философской реформации марксизма. За два года до XX съезда КПСС, призвавшего к восстановлению ленинских норм жизни, «философы-шестидесятники» призвали вернуться к Марксовым нормам мышления. В последнем разделе статьи рассказывается об оригинальных концепциях мышления и сознания, которые появились в советской философии в 60-х – начале 70-х гг. и подчас имели неомарксистский характер.

**Ключевые слова:** поколения, идеология, критика догматизма, марксизм и неомарксизм, стоицизм, реформация, А.А. Зиновьев, Э.В. Ильенков, З.А. Каменский, М.К. Мамардашвили, И.Т. Фролов.

Я хочу предложить вашему вниманию мемориальный очерк, ориентированный на проблематику социологии знания. Его тема – советские «философы-шестидесятники», его сквозная проблема – отношение поколений.

Ключ к разгадке образа мысли «философов-шестидесятников» я вижу в удивительном составе студенчества, отличавшем пятидесятые годы. Показательным в этом отношении (исключительно интересным для социальной генеалогии) был философский факультет МГУ.

<sup>1</sup> См.: Философские поколения / Автор идеи, сост. и отв. ред. Ю.В. Синеокая. – М.: Издательский Дом ЯСК, 2022. – 1232 с., ил. – С. 285–317.

Можно сказать, что на нем в ту пору обучалось парадоксальное гибридное поколение. За студенческой скамьёй сошлись отцы и дети, которые по возрасту различались всего лишь как старшие и младшие братья.

«Старшими братьями» («братьями-отцами») были те, кто ушёл на фронт из вуза, прошёл опыт войны, многое повидал и уже имел возможность усомниться в достоинствах сталинского социализма. «Братьями младшими» стали те, кого день победы застал за школьной партией.

В пятидесятых годах эти возрастные группы встретились в университетских аудиториях, и, как оказалось, встретились для того, чтобы начать обновление отечественной философской мысли.

К «философам-шестидесятникам» я причислен уже достаточно давно. Давно считаю себя участником обновительного процесса, получившего название московской философской оттепели.

С уверенностью утверждаю, что это было самое событийное, самое внезапное и радостное время моей жизни – время «второго рождения», «metanoia», радикальной «мыслеперемены». Я пребывал в ту пору в состоянии, которое считается приметой успешной идентификации человека со своим поколением [Гусейнов 2022]. Я был уверен, что у меня есть судьба и что она сбывается. Сбывается вопреки вероятностям и самому понятию причинной обусловленности. Да и посудите сами: какими детерминациями можно объяснить то обстоятельство, что моим учителем логики в свердловской средней школе оказался Б.И. Шрагин – однокурсник и друг главного героя московской философской оттепели, Эвальда Ильенкова; что он, будучи студентом, знал мою будущую жену, Евгению Фролову, а в 1955 г. приведёт меня к Ильенкову в дом.

Но самое существенное заключалось, конечно, в образовании в то время удивительного неформального сообщества, члены которого смотрелись как люди одной судьбы. Родившись на философском факультете МГУ в середине пятидесятых, оно распространилось потом на многие города и веси. Активные участники этого сообщества не были единомышленниками, они конфликтовали и спорили, доходя порой до непримиримости. Вместе с тем они не враждовали и не были нетерпимы. Они относились друг к другу как к потенциальным, всегда ещё возможным единомышленникам. Они охотно и умело поддерживали друг друга в противостоянии диамат-истматовскому официозу. В удушливом царстве советской философии именно в это время впервые появились толерантность и безоговорочное уважение к разумному доводу. Никогда, ни до, ни после этого удивительного времени, я так уверенно не произносил местоимение «мы». Никогда так не тяготел к работе в добровольной команде, исследовательской или, скажем, литературно-публицистической.

И за всем этим у меня, как и у многих других, стояла признательность и стойкое уважение к нескольким людям, которые ещё совсем недавно были одеты в офицерские шинели.

\* \* \*

В литературе последних лет, например в известной книге Владимира Кантора «...Есть европейская держава», формулируется следующий любопытный тезис: XX съезд партии по сути своей был съездом демобилизованных «лейтенантов ВОВ».

Речь, разумеется, идёт не о том, что низшее офицерство времён Отечественной войны составляло большинство делегатов XX съезда. Речь о том, что многие «лейтенанты ВОВ» уже давно, уже с военных лет ожидали перемен, которые начал XX съезд, и немало сделали для приближения этих перемен.

Решения съезда были очень по-разному приняты бывшими фронтовиками. Но знаменательно, что те из них, которые убеждённо одобряли осуждение культа личности Сталина

и его последствий, как правило, тут же переходили к рассказам о давней подготовленности этого осуждения. Я – сегодня уже редкий свидетель их образа мысли – позволю себе кратко резюмировать содержание этих рассказов.

Великая Отечественная война (особенно 1941 г., обнаживший неготовность Советского Союза к нападению фашистской Германии) позволила увидеть многие изъяны и пороки сталинского социализма<sup>2</sup>. Участники боевых действий возвращались в мирную жизнь с сознанием необходимости коренных оздоровительных мер. На переднем плане оказывались три.

Во-первых, амнистия всех ещё живых заключённых, осуждённых по политическим статьям (в радикальном варианте – реабилитация, пусть даже посмертная, всех невинно осуждённых).

Во-вторых, реорганизация колхозов, поиск иной формы сельхозкооперации (в радикальном варианте – замена колхозов совхозами при обязательном устранении рецидивов сельской крепостной зависимости, главным – но далеко не единственным – выражением которой было прикрепление поселян к колхозу и отсутствие у них паспорта).

В-третьих, отказ от воинствующего атеизма и от гонений на церковь; действительная свобода совести если не для всех, то хотя бы для беспартийных<sup>3</sup>.

Что касается конкретных предложений по обновлению политического управления, производства, организации потребления, то в демобилизующейся армии они выдвигались и обсуждались во множестве.

Сознание необходимости перемен, зародившееся уже в первые месяцы войны, достигло предельной остроты где-то к концу 1942 г. После Сталинградской битвы, когда действия Советской армии стали победоносными, оно приобрело характер перманентной фронтовой надежды. Всего прочнее надежда эта укоренилась в молодёжи, призванной на фронт в 1943–1945 гг. Если говорить о командном составе, то это как раз и были люди, которые завершат своё воинское служение «лейтенантами ВОВ» (командиры 1941–1942 гг. демобилизовались скорее в чине капитанов и майоров).

Можно сказать, что «лейтенанты ВОВ» уже в середине сороковых годов убеждённо и мужественно ждали «оттепели».

Что же происходило, когда они возвращались в мирную жизнь, в условия долгого трудового перенапряжения и послевоенной разрухи?

Как свидетельствовали мои собеседники, вчерашний тыл не был готов к признанию заветных надежд, родившихся на фронте. Что касается партии и её агитационно-пропагандистской машины, то здесь исторически выстраданные чаяния «лейтенантов ВОВ» блокировались и подавлялись самым решительным образом. Надежды на «оттепель» окончательно заглохли в 1947–1949 гг., с началом «холодной войны».

Значило ли это, что «лейтенанты ВОВ» капитулировали перед обстоятельствами? Что ожидания конца войны и весь их образ мысли были сломлены? Нет, рассказы моих собеседников свидетельствовали о другом.

Надежды, родившиеся в блиндажах, землянках и госпиталях, не были преданы, их просто отодвинули в отдалённое будущее, превратив в своего рода «сверхзадачу». Задача же насущная («программа минимум») заключалась теперь в том, чтобы не поддаться оживлению

---

<sup>2</sup> Об этом убедительно и лаконично говорит сегодня наш коллега, ветеран войны Д.И. Дубровский. Непозволительно замалчивать «тягчайшие поражения и неоправданные потери, – акцентирует он, – только подлинная правда о войне со всеми её трагедиями и жертвами способна показать высокий патриотизм советского народа» [Дубровский 2020: 16–67]

<sup>3</sup> Существование этих оздоровительных проектов подтверждает лучшая художественная литература о войне. Назову великое произведение Василия Гроссмана «Жизнь и судьба», повесть Михаила Шолохова «Они сражались за Родину» и роман Виктора Астафьева «Прокляты и убиты».

и упрочению авторитарно-партократического порядка, которые принесла с собой «холодная война».

Ситуация, которую я описываю, острее всего переживалась в прессе и издательствах, в сфере культуры, образования и политпросвещения, в научно-исследовательских институтах. Именно здесь самым жёстким образом заявило о себе главное идеологическое сопровождение начинающейся «холодной войны» – форсирование партийного руководства культурой и наукой. Начиная с 1947 г. это была зона особого надзора, произвольных репрессий и сфабрикованных обвинений, что получило впоследствии название «ждановщины»<sup>4</sup>.

Для противостояния «ждановщине» требовались поистине воинские добродетели: отвага, стойкость, самоотверженность. Именно эти качества нужны были, чтобы не поддерживать инвективу, за которой нет надёжного доказательства; не подписать коллективного идеологического доноса; не употребить уже запущенный ярлык; промолчать, когда от тебя ждут незаслуженных одобрений, и не промолчать, когда звучит лжесвидетельство.

И как раз эту нравственную позицию хорошо выдерживали демобилизованные офицеры-фронтовики, вернувшиеся на службу в учреждения культуры, образования и науки.

Яркий тому пример – выступление директора Института цитологии АН, в недавнем прошлом майора десантных войск, героя войны И.А. Раппопорта на пресловутой сессии ВАСХНИЛ (июль 1948). Раппопорт был единственным, кто опротестовал решения сессии, более того – уличил ее участников в бездоказательном шельмовании генетики и пагубной дезориентации отечественной биологии. На немедленно учинённом партийном собрании института Раппопорт отказался от осуждения своих взглядов и повторил, что «считает хромосомную теорию наследственности правильной, укладывающейся во все принципы материалистической науки». Он сделал это, будучи возможным кандидатом на Нобелевскую премию за открытия в теории химического мутагенеза. Был исключён из партии и уволен из института. После смерти Сталина вернулся к работе; в 1990 г., незадолго до кончины, был удостоен звания Героя Социалистического Труда.

Другой пример – из истории нашего института. В 1947 г. на дискуссии, где обсуждалась книга Г.Ф. Александрова «История западноевропейской философии», слово взял сотрудник института, признанный специалист по истории русской философии З.А. Каменский (1915–1999). На трибуну взошёл уже немолодой «бывший лейтенант ВОВ», удостоенный медали «За боевые заслуги» и демобилизованный по ранению. Защитив книгу Александрова от ряда нападок (а они сыпались обильно и уже были нацелены на кадрово-политическую разборку), он поставил на обсуждение и осудил... само философское сообщество, ополчившееся на Александрова. Первым объектом его атаки стали «бюрократические и протекционистские пороки в организации научной работы» [Дискуссия... 1947: 376–377].

Этот по-фронтовому отважный протестный текст привёл в растерянность номенклатурную аудиторию. Он «не оставлял Каменскому никаких шансов на научную карьеру» [Батыгин, Девятко 2009: 216]. Суровая расплата состоялась, однако, лишь год спустя. Я имею в виду кампанию по борьбе с «космополитизмом», развёрнутую в Институте философии сразу после сессии ВАСХНИЛ. Первым в ряду «космополитов» значился Б.М. Кедров, тогдашний главный редактор «Вопросов философии»; второе место прочно занял З.А. Каменский.

Кедров полностью признал свои ошибки, усмотрев их причины в глубоко засевших в его сознании рецидивах буржуазного мировоззрения и в своём пристрастии к логизированию, Каменский никакими покаяниями не порадовал и был уволен из института.

<sup>4</sup> «Ждановщина» датируется с августа 1946 г., с печально знаменитого постановления ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград». 31 августа 1948 г. А.А. Жданов умер. Самые крутые репрессивно-идеологические меры были приняты, когда соответствующие партийные ведомства возглавлял Г.М. Маленков.

В 1957–1968 гг. этот замечательный человек работал в редакции «Философской энциклопедии», а затем вернулся в дом на Волхонке.

В 1975–1999 гг. мы с ним обретались в одном секторе, и вот что, пожалуй, мне крепче всего запомнилось. Будучи человеком на редкость тактичным, порой просто снисходительным, Захар Абрамович делался твёрдым до непримиримости, когда дело доходило до выяснения ключевых вопросов профессии. В оценку его поведения просилось выразительное понятие философов-стоиков – *κατόρθωμα*. А.Ф. Лосев переводил его как «неколебимая моральная прямота». Она может долго оставаться невидимой, но заявляет о себе тотчас, как речь заходит о первоначалах и о законе. Она сродни пониманию нелживости как высшей добродетели, что опять-таки отстаивали некоторые из стоиков, и высокой оценке рациональных доказательств. Полагаю, что в сегодняшнем дискурсе это будет «неколебимая принципиальность».

Думая о характере Захара Абрамовича (о характере его «поступания», как выразился бы М.М. Бахтин), я вспоминаю также знаменитую формулу Мартина Лютера, совершенно созвучную *κατόρθωμα*: «На том стою и не могу иначе!»<sup>5</sup>.

Однажды я спросил Каменского: а к какому главному приёму он и подобные ему прибегали в полемике со ждановским философским официозом? Ответ Захара Абрамовича был очень интересен. Насколько помнится, он состоял в следующем: «инакомыслящие» конца сороковых – начала пятидесятых годов (Каменский употребил именно данное выражение) выступали под флагом борьбы с догматизмом. Позиция эта была в ту пору дозволенной и даже приветствовалась, хотя трактовалась совершенно по-разному. Философский официоз понимал под догматизмом неумение расслышать живой, новаторский, творческий характер актуальных партийных решений. Что касается инакомыслящих, то они понимали под догматизмом кабинетно-казённый характер самих этих решений (по крайней мере, некоторых) – их узость, односторонность, негибкость. Образцом творчества и новаторства признавалось учение классиков марксизма – тексты четырёх корифеев, один из которых был жив. То, что прямо не вытекало из этих текстов, требовало доказательств и обоснований.

В 50–70-х гг. мне довелось познакомиться со многими бывшими офицерами-фронтовиками, вошедшими в наше философское сообщество ещё при жизни Сталина. К числу «инакомыслящих» принадлежали конечно же далеко не все. Многие «лейтенанты ВОВ», вернувшись на студенческую скамью, утратили знания, полученные за школьной партией. Они попадали в отстающие и не решались на самостоятельное суждение. Были, наконец, просто те, кого согнул командный беспредел армии и кто считал самым правильным для себя «заучивать и повторять что скажут».

Вместе с тем упрямые полемисты всё-таки не были редкостью среди демобилизованных офицеров. Назову Г.А. Гургенидзе и Д.И. Дубровского, В.С. Библера и А.В. Гулыгу, К.М. Кантора и П.В. Копнина, В.Ж. Келле и Е.Г. Плимака. Эти удивительные люди отличались по таланту, эрудиции и интересам, по выбору полюбившихся им идей, течений, школ, но уже с конца сороковых годов были едины по крайней мере в следующем:

- всех их отличала неколебимая принципиальность;
- все были критиками догматизма;
- все требовали строго рациональных доказательств для идей и решений, претендовавших на то, чтобы быть «марксистской истиной».

---

<sup>5</sup> Если быть точным, «здесь стою и не могу иначе» (Hier stehe ich und kann nicht anders). Формула эта прозвучала в 1521 г. – ровно 500 лет назад! – на рейхстаге в Вормсе. Её предваряла следующая декларация: «Если я не буду опровергнут ссылками на Писание или очевидными доводами разума, то я остаюсь при тех свидетельствах Писания, которые привёл, и совесть моя остаётся восхищенной в слово Божье».

Особое место в этом перечне достойных, на мой взгляд, должно быть отведено Э.В. Ильенкову и А.А. Зиновьеву. Эталонные «вчерашние лейтенанты ВОВ» (фронтовики 1924 и 1922 г. рождения, первый – артиллерист, второй – лётчик), они выделялись наложенной на них обоим печатью харизмы. Неколебимой принципиальности ни тому, ни другому было не занимать. Что касается критики догматизма и строго теоретической проверки идей и решений «на марксистское достоинство», то тут Эвальд и Александр предложили качественно новый подход.

В чем он состоял, я буду говорить в дальнейшем. Теперь же хочу обратиться к обсуждению аудитории, которая живее всего и с наилучшим пониманием откликнулась на антидогматическое новаторство Ильенкова и Зиновьева. Речь идёт о младшей поросли будущих «философов-шестидесятников» – об аспирантах и студентах, обучавшихся на философском факультете МГУ в середине пятидесятых годов.

\* \* \*

Мне известно только одно основательное исследование, обсуждающее это «субпоколение», – я имею в виду книгу Нелли Васильевны Мотрошиловой «Отечественная философия 50–80-х годов XX века и западная мысль». Прежде всего её первый раздел – «Отечественная философия 50–60-х годов» и раздел пятый, озаглавленный «Штрихи к историко-философским портретам отечественных философов».

Книга Мотрошиловой – первая в нашей литературе попытка осмыслить известный период отечественной философии как опыт возрастной группы, к которой она сама принадлежит. Нелли Васильевна хорошо понимает, что если поколение определяется как социологическое и культурологическое понятие, то для изучения философского поколения чрезвычайно важна социология знания. В настоящем очерке я, сверстник Нелли Васильевны, постараюсь идти этим же путём.

Прежде всего хочу привлечь внимание к следующему существенному обстоятельству. Школьники, пришедшие на философский факультет во второй половине 40-х – первой половине 50-х гг., – это, как правило, дети, у которых война отняла отцов и семейное благополучие.

Безотцовщина – тягостное и пагубное социальное явление. Рассказы о благородстве детей-героев не должны заслонять психических расстройств, деморализации и криминализации подростков, которые принесла с собой война. Вместе с тем война была временем удивительного подросткового противостояния разлагающему воздействию безотцовщины – противостояния, особенно заметного в интеллигентных семьях и семьях, не отринувших религии.

«Твой отец сражается за Родину. Твой долг – быть ответственным и добросовестным в отрадном мирном занятии, которое тебе досталось, – в учёбе». Вот это требование в разных выражениях предъявлялось подросткам и юношам их матерями, родственниками, учителями. По своей строгости и категоричности оно, я бы сказал, напоминало предписания протестантской мирской аскезы. Хорошие оценки, начитанность и уверенность в своих знаниях возводились в священную обязанность, которую сын или дочь имеют перед воюющим отцом. Добавлю: перед погибшим совершенно так же, как перед живым.

Энергия военно-патриотического долга у школьника сороковых годов направлялась прежде всего на успешную успеваемость. Где-то к концу войны эта установка превратилась в своеобразный культ учёбы. И именно в этот момент она получила символическое и документальное завершение. Я говорю о появлении золотых и серебряных медалей, обеспечивающих поступление в вуз без экзаменов.

В годы моего пребывания на философском факультете МГУ медалисты составляли более половины абитуриентов, которые добивались успеха. Что же это за феномен – медалист послевоенного времени?

Золотые и серебряные медали (для краткости буду в дальнейшем говорить просто «золотые медали») – компонент любопытной перелицовки школьной жизни, затеянный по прямой подсказке Сталина. В согласии с требованиями великодержавной идеологии (в то время ещё только вызревавшей и «проверяемой на надёжность») школа была во многом уподоблена дореволюционной российской гимназии. Было введено отдельное обучение, появилась школьная форма. Знаменательно, что в ней не было никакого намёка на рабочую спецовку или на красноармейскую одежду (вспомним для сравнения, как была одета учащаяся молодёжь во время китайской культурной революции). Форма для советских девушек-школьниц подчинялась стандартам то ли дворянской, то ли мещанской благопристойности. Форма для юношей походила на удешевленный гимназический мундир. В обоих случаях старшеклассники выглядели как представители классово не обозначенного серого множества – как дети советских клерков.

Одним из школьных предметов стала логика. В ряде школ, по стране их было около десятка, опробовали обучение древним языкам. В школе, где я учился, это была латынь. Мы осваивали её по пособию, предназначенному для медицинских вузов.

Но, пожалуй, самым важным из всего, что советская школа 40–50-х гг. переняла у российской гимназии, были всё-таки именно «золотые медали». И, как это ни удивительно на первый взгляд, присуждение «золотых медалей» деидеологизировало школьный аттестат.

Классовый подход к пополнению высшей школы, по сути дела, был отменен. Последние сталинские годы не знали никаких рабочих наборов, никаких льгот для детей рабочих и крестьян (последнее – я имею в виду отношение к деревне – нельзя вспоминать без горечи).

Комсомольская, то бишь идеологическая, активность старших школьников, разумеется, принималась во внимание, но решающее значение всё-таки придавалось успеваемости как таковой. Отбор золотых медалистов мало-помалу утверждал новый приоритет в борьбе за гарантированное высшее образование. Точным обозначением этого авторитета может быть термин «компетентность».

Поощряя компетентность, коллективы школьных преподавателей, педагогические советы, выдерживали порой даже натиск агрессивных идеологических кампаний. Давно замечено, например, что в 1949–1952 гг. кампания борьбы с «космополитизмом», стимулировавшая антисемитские настроения, не помешала присуждению золотых и серебряных медалей большому числу школьников-евреев.

Ярким свидетельством всего только что сказанного может служить школа, в которой мне довелось учиться, – Свердловская средняя школа №65. В 1949 г. (за три года до того, как я получил аттестат зрелости) в ней образовался удивительный выпускной класс: в нем было двадцать три ученика, и одиннадцать из них получили медали – четыре «золотых», семь «серебряных». Последующая судьба этих избранных убедительно подтвердила полную заслуженность полученных ими наград: один из них стал членом-корреспондентом Академии наук, шестеро – докторами наук по математике, физике, геологии и медицине. Трое из медалистов – всего лишь трое – были комсомольцами-активистами, ещё три – целых три – были евреями.

Этот беспристрастный отбор призёров учёбы, который вполне можно было бы назвать граждански-правовым, надо поставить в заслугу прежде всего тогдашнему поколению учителей. Поколению удивительному. Его большинство составляли люди, для которых было нравственно очевидным ленинское «Учиться, учиться и учиться!», проникнутое просвети-

тельской уверенностью в общезначимости истинного знания, демократизмом и интернационализмом. Их объединяло ясное понимание того, что налицо острый дефицит квалифицированных кадров, что страна, одолевающая послевоенную разруху, ни в чем так не нуждается, как в попредметной подготовке школьников, надёжной специализации выпускников техникумов и ФЗУ, квалификации и компетентности выпускников высших учебных заведений. Особенно уверенно этой установки придерживались учителя, вернувшиеся с фронта.

Война открыла для них великую силу науки и техники. Педагогические коллективы принимали и поддерживали данную установку. Прежде всего это относилось к учителям-предметникам, преподававшим математику, физику или химию («физики» доминировали над «лириками», – сказали бы в шестидесятых годах). Почтительное отношение к «физике», к «точным наукам» школьник встречал и дома. Оно было составной частью тогдашнего конформизма – обывательски-народного мышления – и приобрело высшую силу после 1948 г., когда Советский Союз создал свою атомную бомбу. Пользуясь словарём Мартина Хайдеггера, можно сказать, что страна пребывала тогда в состоянии «преклонения перед технонаукой».

Преклонение имело любопытный побочный эффект. Складывалось убеждение, что гуманитарные предметы должны преподаваться по формату инженерных и естественно-научных: предельно однозначно, методично и строго. Раньше всего это было отнесено к преподаванию языка, к филологической культуре.

В конце сороковых годов неписаной всеобщей нормой для средней школы стало удовлетворительное владение литературным языком. За выполнение этой нормы преподаватели языка и литературы боролись с методичностью «технарей» и с той народнической энергией, которая и в дореволюционной, и в советской России стояла за борьбой с неграмотностью.

Школьное обучение начиналось с чистописания и завершалось выпускным сочинением.

Сочинение было своего рода священнодействием: первым в ряду экзаменов, результат которого (а он делался известным уже через пару дней) определял всё последующее поведение экзаменуемого. Грамматическая и даже стилистическая ошибка стоила многого: лучше было забыть точную формулировку одного из законов Ньютона, чем допустить некорректность в употреблении деепричастного оборота.

Но написать хорошее сочинение по литературе нельзя без знания самой литературы. И учащиеся послевоенной средней школы (претенденты на «золотую медаль» прежде всего) хорошо это понимали.

В итоге выходило, что конформистское доминирование «физиков» вовсе не гасило настоящего интереса к «лирике».

Старшеклассников 40–50-х гг. никак нельзя было назвать «филологическими технарями». Это были достаточно ответственные и увлечённые литературоведы. Школьная программа по литературе занимала важное место в их борьбе за успех и отнюдь не была бедна.

Несмотря на многие идеологические купюры, она была почтительной в отношении классического наследия – отечественного и зарубежного. Программа предполагала знакомство с сочинениями Державина, Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Тургенева, Гончарова, Некрасова, Островского, Толстого, Чехова. Далее следовали Горький, Маяковский, Серафимович, Фадеев, Федин, Шолохов.

Боюсь, что знакомство школьников с «золотым фондом» русской словесности в пятидесятые годы было куда более основательным, чем сегодня.

Любопытны рекомендательные списки для чтения, которые выдавались перед летними каникулами. Они включали в себя и «литературу народов СССР» (перед самой войной по-

явилось великолепное издание поэмы Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре» в переводе Ш. Нуцубидзе), и литературу зарубежную (Стендаль, Бальзак, Диккенс). Рекомендуемые тексты делились на обязательные и дополнительные (для отличника, претендента на медаль, обязательными являлись оба списка). В дополнительную литературу попадали и такие, например, сочинения, как «Преступление и наказание» Достоевского, «Исповедь» Толстого и вересаевские «Записки врача».

Основательное знакомство с Маяковским входило в тогдашнюю молодёжную культуру и подчас было удивительным. Блока должен был знать тот, кто хотел блеснуть и понравиться, а Есенин распространялся подпольно, зачастую будучи переписанным от руки (рискну утверждать, что это был первый в Союзе «самиздат», пусть предельно малотиражный).

Существенно далее, что чтение книг в военные и послевоенные годы было признанным главным развлечением молодёжи. Ни кинозал, ни эстрада не могли конкурировать с библиотекой, а главное – с любым и всяким местом, где можно было сесть, положив книгу на стол или на колени. И от чтения не отвлекал ни телевизор, ни мобильник. Книга была атрибутом досуга, главным реквизитом свободного времени.

Развлекательной литературы в точном смысле слова было немного, но зачитывалась она до дыр. Из рук в руки передавались Валентин Катаев и Аркадий Гайдар; становились в очередь за Этель Лилиан Войнич и Джеком Лондоном; подолгу ждали сатиру И. Ильфа и Е. Петрова.

Но наибольшим признанием пользовались рассказы о приключениях и путешествиях. Фантазии Жюль Верна, замечательная проза В.К. Арсеньева («Дерсу Узала»), биографии Пржевальского, вышедшие из-под пера А.Н. Зеленина (1900) и С.И. Хмельницкого (1950, серия ЖЗЛ), книга А.С. Яковлева «Жизнь и приключения Рональда Амундсена» увлекали многих и порой определяли выбор профессии.

Не могу не заметить, что интерес к путешествиям и приключениям компенсаторно фиксировал одну из главных тягостей военного и послевоенного времени – отсутствие свободы перемещения.

В одних случаях это была просто прикреплённость к месту работы и проживания (колхозы и оборонные предприятия); в других – вынужденность самого срочного перемещения из одного места в другое. И конечно сама скудная, стесняющая, повторяющаяся и, наконец, рутинно-изнурительная повседневность эвакуации.

Молодые сердца рвались на простор, к рискованному и трудному, но свободно выбранному перемещению. Это устремление подпитывалось суровой романтикой Заполярья, которую предъявили тридцатые годы (вспомним о ледоколе «Челюскин», о подвигах лётчиков-спасателей, первых Героев Советского Союза; о перелётах «через Северный полюс в Америку»). Романтика Заполярья будет долго влиять на юношеский «круг чтения».

\* \* \*

Не могу не задержаться на феномене, который давно уже привлёк внимание литературоведов, но пока, насколько мне известно, не интересовал философов. Самой читаемой книгой подростков и юношей сороковых – пятидесятых годов был роман Вениамина Каверина «Два капитана» (1938–1946), произведение, удивительное по смысловости и богатству политических и социокультурных ассоциаций.

Жизнь главного героя романа, лётчика-полярника Сани Григорьева, выстроена как цепь приключений. При этом ключевыми – такими, к которым приходится снова и снова возвращаться, – оказываются приключения детства, отрочества и юности. Идентификация с Саней-подростком задана читателям всех возрастов и легче всего удаётся молодым.

Роман Каверина, далее, по-молодому проективен. Суть проекта (если угодно, телеология романа) чётко определена и предъявлена. Она в исполнении девизанорматива: «Бороться и искать, найти и не сдаваться!»

Перед нами перевод известной сентенции английского поэта Альфреда Теннисона, выгравированной на кресте, который был поставлен в память о погибшей экспедиции Роберта Скотта, направлявшейся к Южному полюсу.

В романе Каверина эпитафия полярникам-первопроходцам получает особую смысловую акцентировку. Во-первых, она становится девизом профессии как подвига. Во-вторых, делается девизом всякого ответственного исследования.

Саня Григорьев как лётчик-полярник занят не только работой по обеспечению народно-хозяйственных (в годы войны – оборонных) нужд. Выполняя её добросовестно и самоотверженно, он постоянно держит в поле зрения ещё и свою особую, исследовательскую задачу. Он изучает географию Северного морского пути и драматичную историю его освоения. Именно такова профессия Григорьева в профиле приключения, которым захвачен юный читатель.

В этом профиле, в увлекательном сюжетном построении романа, девиз Теннисона – Каверина оказывался созвучным тому культу просвещения, знания и науки, который утвердился к концу 40-х гг. Ни сам герой романа, ни его молодой читатель не только не удивились, но, пожалуй, и восхитились бы, увидев слова «Бороться и искать, найти и не сдаваться!» на здании научно-исследовательского центра, института, университета.

Но и это ещё не всё. Как мы помним, в романе «Два капитана» речь идёт о научном открытии, которое было ликвидировано вместе с добрым именем самих открывателей (капитана Татаринова и его команды). Последние оказались невинно осуждёнными, искусно подведёнными под ложные, сфабрикованные обвинения, которые представил двоюродный брат капитана Татаринова, школьный директор Николай Антонович Татаринов («Татаринов-младший»). Ключевой задачей Сани Григорьева стало возрождение самой правды открытия. Именно в этом главное напряжение его полярного исследования, которое поначалу терпит жестокое поражение. Требование «Бороться и искать, найти и не сдаваться!» получает предельную остроту и категоричность, замыкаясь на финальную максиму: «Мало бороться за истину и найти её, надо ещё не сдать под натиском умело организованной лжи – не отступить и мужественно искать новых доказательств».

Послевоенного школьника, нацеленного на получение высшего образования (школьника, которого я пометил понятием «золотой медалист»), роман Каверина готовил к встрече с жёсткими социальными испытаниями. И став студентом, школьник убеждался в справедливости каверинского предупреждения.

Конец сороковых – начало пятидесятых годов – время уродующего и растлевающего идеологического давления на науку. Его эталонным выражением стала «лысенковщина». После уже упомянутой мною сессии ВАСХНИЛ (июль 1948) шельмование и преследование генетиков, учинённое при прямом потакании партийного руководства страны, удушающе воздействовало на всю систему образования и научно-исследовательских институтов.

И вот удивительные совпадения.

(а) Прототипом Сани Григорьева был учёный-генетик Михаил Лобашёв [Александров 1993: 151–157]. По свидетельству В.А. Каверина (вспомним девиз Теннисона – Каверина), его отличало «упорство и удивительная определённости цели» [Каверин 1980: 293]. Встреча с Лобашёвым в середине тридцатых годов стала запалом к работе над «Двумя капитанами» [Свирский 1972: 78].

(б) В 1948 году писатель приступил к написанию трилогии «Открытая тетрадь», герои которой, советские эпидемиологи, открывающие пенициллин, могут считаться прямыми

преемниками Сани Григорьева. В трилогии сохранится и тема восстановления доброго имени исследователя.

Но только ли об исследователе (полярном первопроходце или учёном) думалось молодому читателю романа Каверина? Нет, образ человека, несправедливо обвинённого и погибшего в Заполярье, в конце сороковых – начале пятидесятих годов отсылал к куда более широкому понятию реабилитации. Он заставлял думать о лагерях за полярным кругом, например о Воркуте, страшном географическом символе – месте, где размещался один из самых крупных ИТЛ<sup>6</sup>.

Роман «Два капитана» вполне мог бы иметь подзаголовок «Реабилитация капитана Татаринова», и тогда сама Арктика из романтического края героев превратилась бы в край заключённых, которым грозит смерть. Подобные ассоциации могли возникнуть (и возникали) у сотен тысяч молодых читателей. Ведь если принимать во внимание большие семьи (то есть семьи, включающие в себя дедов и бабушек, отцов и матерей с их братьями и сёстрами), то число молодёжи, задетой сталинскими политическими репрессиями, в 40–50-х гг. было никак не меньшим.

Сражение Сани Григорьева с прохиндеями заканчивалось, как мы помним, полной его победой. Молодой читатель торжествовал вместе с героем книги, и именно в этом состоял главный её эффект. Множество подростков и юношей укреплялось в своей надежде на реабилитацию и амнистию, которая к концу войны была повсеместной. Можно сказать, что роман Каверина делал их на какой-то момент людьми, которые уже в середине сороковых годов ожидали XX съезда и «оттепели». И конечно же, он (роман) сблизал по образу мысли с демобилизованными «лейтенантами ВОВ». Вслушаемся: разве замечательный девиз «Бороться и искать, найти и не сдаваться!» не выражал – и притом точнейшим образом – этоса этих родившихся на полях войны протестантов и стойков?

\* \* \*

Посмотрим теперь, с каким представлением о философии мы, выпускники советских школ, готовились к поступлению на философский факультет.

Важным фактором формирования склонности и интереса к философии была художественная литература: отечественная и зарубежная (Мераб Мамардашвили рассказывал, например, что в философию его привёл Стендаль).

Знакомство с философским наследием, как правило, было случайным. «АнтиДюринг» Ф. Энгельса то и дело оказывался первой философской книгой, и она нравилась. Затем обычно следовала работа «Людвиг Фейербах и конец немецкой классической философии», которая, слава богу, направляла прямо к философской классике. Русских переводов Фейербаха в те годы ещё не было. Основное, с чем знакомились будущие студенты философского факультета, – это многотиражное издание Гегеля. Многие читали его основательно (я, например, к 10-му классу просмотрел все три тома гегелевской «Эстетики» и поступал на факультет с намерением именно эстетикой и заниматься).

Несомненно, уже в то время в поле зрения будущих студентов попадали тексты Маркса. Встречались случаи удивительные. Я знал двух людей, которые в школьные годы прочли все три тома «Капитала». Первый – это Г.П. Щедровицкий, второй – Г.С. Батищев.

Над ленинским «Материализмом и эмпириокритицизмом» корпели немногие, но всем была знакома четвёртая глава «Краткого курса истории ВКП(б)» – глава, автором которой, по-видимому, всё-таки является Сталин (в 40–50-х гг. это считалось несомненным).

---

<sup>6</sup> Знаменитый Воркутлаг, учреждённый в год первой публикации романа Каверина (1938) и содержавший (в 1943 г.) 73 000 заключённых.

Философский текст, предложенный вождём, почитался и нравился – привлекал своей простотой и доходчивостью. Вместе с тем (и это важно подчеркнуть) он воспринимался как популярная аннотация какого-то скрытого от нас, масштабного, глубокого и непременно систематизированного учения, которым владеют только члены высшей марксистско-ленинской логи. В ложу входят идейные вожди партии, руководители международного коммунистического движения и проверенные титулованные учёные.

Гадание над содержанием этой эзотерии (а приобщение к ней каждому из нас казалось его особой, даже исключительной миссией) сопровождалось взлётами совершенно доморощенных, но достаточно дерзких фантазий. Я, например (стесняясь и опасаясь, в секрете от всех), немало размышлял над вопросом: «А что будет после коммунизма?» Размышление было совершенно романтическим и включало в себя, помнится, некоторые проекты, заимствованные из толстовства. Поступив на философский факультет МГУ, я, к удивлению своему, встретил ещё трёх студентов, которых в их школьные годы преследовала эта же крамольная тема.

Как же встретил нас философский факультет?

\* \* \*

Одобрительное, а порой и восторженное отношение к дискуссии 1954 г. в публикациях последнего времени повело к появлению своего рода мемориальных идиллий. Появились ностальгические тексты, у читателей которых может сложиться впечатление, будто тон в преподавании задавали в ту пору такие достойные лица, как Валентин Фердинандович Асмус, Павел Сергеевич Попов или Михаил Федотович Овсянников. Эти профессора и доценты несомненно заслуживают добрых воспоминаний. Последнее, однако, не должно заслонять того обстоятельства, что в 40–50-х гг. они были, что называется, явлением эксклюзивным. На факультете доминировали кафедральные уродцы, которые упорно и методично готовили из студентов марксистов-начетчиков, доносителей и людей, умеющих штамповать идеологические ярлыки.

В год моего поступления в МГУ (1952) на всех курсах было проведено по несколько семинаров, посвящённых убогой сталинской брошюре «Экономические проблемы социализма СССР». В канун выборов в Верховный Совет СССР студентов поголовно мобилизовали на агитационную работу, главной задачей которой было разъяснение решений XIX съезда партии, рекордных по степени директивной казённости. Мне известны случаи, когда студенты длительное время имитировали косноязычие, чтобы избежать пропагандистских перегрузок (и, не могу не добавить, действительно зарабатывали себе дефект речи).

Легенда о «врачах-убийцах», запущенная в январе 1953 г., разожгла подозрительность. С особым тщанием отслеживались возможные рецидивы космополитизма – их усматривали, например, в живом интересе к истории западноевропейской философии. Списки соответствующей литературы, рекомендуемой для ознакомления, были решительно сокращены. Уже в 1949 г. запретили кружоксеминар по изучению немецкой философии, которым руководил М.Ф. Овсянников. Бывшие участники семинара были поставлены под особое наблюдение. Руководители дипломных и курсовых работ доверительно советовали студентам не увлекаться цитатами из Маркса и Энгельса и непременно уравнивать их ссылками на Ленина и Сталина. Интенсивное изучение иностранных языков стало выглядеть как подозрительное занятие.

Смерть Сталина (и даже XX съезд партии) не привела к коренному изменению обстановки.

Василий Сергеевич Молодцов, декан факультета в 1953–1967 гг., пребывал в неизбывном ужасе от решений XX съезда, переживал приступы ксенофобии и был убеждён в том,

что контакты философов, особенно молодых, с конкретными науками должны находиться под постоянным идеологическим досмотром. Где-то осенью 1954 г. подвыпивший Александр Зиновьев бросил в лицо факультетскому Учёному совету реплику, которая облетела страну: «На нашем факультете на голову студента уже с первого курса надевают презерватив, чтобы он, не дай-то бог, не заразился научным мышлением».

Обстановка на факультете оставалась тягостной. Никакого замысла обновления, никакого ожидания перемен у младшей поросли будущих философов-шестидесятников не было. Многие задумывались о смене профессии.

Остепенённые преподаватели, пребывавшие в положенном им возрасте отцов, мало сказать, не пользовались авторитетом – они не вызывали доверия. Только принимая во внимание это внутрифакультетское отчуждение от поколения отцов, можно понять, каким событием стало явление таких учителей, как Ильенков и Зиновьев. Оба талантливы, оба молоды и открыты, за обоими неоспоримый авторитет, а именно – участие в войне и проверка войной. «Отцы-братья», да ещё и харизматики! Столь благое сочетание могло быть только редкой случайностью, говоря по-другому – чудом. Случайностью, которая убедительно доказывает, что она запрошена, востребована; говоря по-другому – судьбой.

Ильенков и Зиновьев защитили новаторские по характеру диссертации. Обе были посвящены теме абстрактного и конкретного в «Капитале» Маркса, обе наводили на мысль о том, что Маркс велик, по сей день методологически значим, а вот продукция ленинско-сталинской школы – завоевание сомнительное.

За этим стоял принципиально новый подход к критике догматизма. Акцентируя научные и научно-методологические достоинства Маркса, Ильенков и Зиновьев, если следовать их логике до конца, позволяли считать догмой любые утверждения, предъявляемые от лица марксизма, но не выдерживающие проверки на научность. Но и это ещё не всё. Зачинатели «философской оттепели» вынесли на такую проверку не какую-либо частную декларацию или формулу, а вопрос о предмете философии и при этом считали первоочередной задачей разработку теории познания.

До смерти Сталина не существовало понятия «марксистского наследия». Весь марксизм, начиная с «Коммунистического манифеста», трактовался как учение, которое не уходит в прошлое, а живёт и корректируется мудростью своего сегодняшнего корифея. С идеями Маркса и Энгельса советские студенты знакомились в курсах сталинской истории ВКП(б). Таково было необходимое и существенное выражение догматизма.

Смерть Сталина не могла не поколебать этого положения дел. Всё учение классиков марксизма теперь лежало в прошлом. Живого классика больше не было. Марксизм попадал под правила обращения с научным и культурным наследием, и к философии марксизма это относилось прежде всего.

Инициаторы «московской философской оттепели» увидели и хорошо поняли данную ситуацию. Прежде всего это относилось к Э.В. Ильенкову. Марксистская теория познания, как он её понимал, сразу получала компетентную, гуманитарно квалифицированную историко-философскую проработку.

В стремлении применить к марксизму историко-философскую культуру обращения с наследием Ильенков не был одинок. Именно в 1954–1955 гг. Т.И. Ойзерман прочёл лекционный курс о политических и философских взглядах К. Маркса и Ф. Энгельса, предельно свободный от повсюду ещё бытовавших испартовских канонов и разработок.

В факультетском обсуждении предмета и миссии философии было два ключевых события. Первое – это дискуссия на Учёном совете в мае 1954 г., инициаторами которой стали Э.В. Ильенков и В.И. Коровиков (опять-таки демобилизовавшийся «лейтенант ВОВ»). Она замыкалась, ни много ни мало, на основной вопрос философии, как его определяет марксизм.

Вторым событием стала защита кандидатской диссертации А.А. Зиновьева на кафедре логики (сентябрь 1954 г.). Развернувшаяся здесь острая полемика была стянута к вопросу о диалектике как методе восхождения от абстрактного к конкретному и вопросу о значимости этого метода для конкретных научных теорий [Гусейнов 2022].

И «Тезисы» Ильенкова – Коровикова, и выступления Зиновьева вызвали ещё небывалый интерес аспирантов и студентов. Он не угас и позже, когда дискуссия была осуждена, а её инициаторов отстранили от преподавания, наклеив на них ярлык «гносеологов». Poleмика ушла в студенческие группы, и в ней, как я уже упомянул, стало складываться долгосрочное неформальное сообщество. Вновь образующиеся кружки и собрания «ильенковцев», «зиновьевцев», «щедровитян» (по фамилии Г. Щедровицкого) при всех концептуальных разногласиях – как покажет время, совсем не шуточных – позиционировали себя в качестве стойких союзников в противостоянии факультетскому официозу. Вся молодёжь чувствовала себя в обновляющемся проблемном поле, о чем Лев Науменко, живой участник событий, на мой взгляд, лучший из биографов Э.В. Ильенкова, на закате XX в. скажет так: «Одних он „перепыхал“, других – „заразил“, третьих – „подстегнул“».

Как я уже сказал, время факультетской дискуссии о предмете философии стало для меня временем «второго рождения», «metanoia», «мыслеперемены». Осенью 1955 г. Б.И. Шрагин привёл меня в дом к Ильенкову, отношения с которым вскоре стали дружескими. Я, студент-четверокурсник, угодил в эпицентр философского обновления.

Нелегко найти язык для выражения того, как мы переживали и осознавали тогдашние события.

В начале 80-х гг. я занялся историей немецкой религиозной реформации и немало внимания уделил жизни и учению молодого Мартина Лютера – католика-диссидента, пришедшего в богословие с сурового фронта монашеской аскезы и возглавившего в Виттенбергском университете группу теологов «самостоятельной мысли» [Соловьёв 2018: 102–110]. К немалому моему удивлению, я увидел многоплановую перекличку между опытом этого первого поколения лютеран («мартиниан») и опытом, через который прошли «ильенковцы» и «зиновьевцы». Многие понятия, наработанные для XVI в., просто напрашивались на разъяснение профессиональных исканий преподавателей, аспирантов и студентов философского факультета МГУ в канун хрущевской «оттепели».

Дело, затеянное Ильенковым, Коровиковым и Зиновьевым, я склонен определять как попытку философской реформации марксизма. Над их начинанием смело можно было бы поставить ренессансно-реформаторский девиз «Ad fontes!» («Назад к истокам!»). Это безоговорочно справедливо в отношении Эвальда Ильенкова (1924–1976), ключевой фигуры тогдашнего идейного брожения. С решительностью и энергией, отличавшей экзегетиков-евангелистов XVI в., Ильенков обратился к первомарксизму. За пару лет до XX съезда партии, призвавшего к восстановлению ленинских норм жизни, он призвал вернуться к Марксовым нормам мышления. Самым точным словом для обозначения его позиции мог бы быть термин из протестантского экзегетического словаря – неоортодоксия. Разъясняя данное выражение, надо непременно вспомнить парадоксалистски-диалектическую формулу, отвечавшую образу мысли молодого Лютера: ортодоксия против догмы. Эта странная оппозиция подспудно присутствует во многих течениях марксистского ревизионизма, но, пожалуй, наиболее слышна именно в философских спорах, начавшихся в нашей стране после смерти Сталина.

И конечно же, едва ли не всякий «ильенковец» вскрикнул бы от радостного изумления, если бы ему в руки попала вдруг литература, рассказывающая о том, как появился и работал раннепротестантский принцип «sola scriptura» («только через Писание»). Подтверждение от Маркса и задействованной им философской классики (и только оно) имело для Эвальда Ильенкова значение священной санкции. Можно добавить, что в дискуссиях, которые случа-

лись в его доме, тексты Спинозы или Гегеля приобретали порой вид и характер Ветхого Завета, тексты Маркса – Завета Нового, а сочинения Ленина – вид и характер апостольских посланий. До этого же уровня почитания подымались порой Энгельс, Лукач и Деборин.

Маркс Ильенкова – мыслитель, стоящий выше любых авторитетов, – требовал, чтобы его читали самостоятельно. Человек редкой литературной одарённости, Ильенков – и письменно, и изустно – предъявлял высокие образцы такого чтения, увлечённого и увлекательно-го. Более того, ему удавалось, развивая мысль Маркса, говорить как сам Маркс (и это же можно было сказать относительно Ильенкова и Гегеля). Преподаватели, аспиранты и студенты, посещавшие замечательные семинары, которые вёл Эвальд Васильевич, оказывались внутри дискурса, вызывающе отличного от ленинско-сталинской догматики, которую им приходилось штудировать. В свете речевого поведения и самой личности Ильенкова она (догматика, недостойная уже называться ортодоксией) смотрелась как марксизм, отчуждённый от Маркса, и как принудительно заданная «превращённая форма» самой философии.

Это было настоящим экзистенциальным открытием, которое, однако, не могло обнадёживать и радовать. Официальная догматика, распознанная как анонимная, идеологически принудительная сила, обескураживала и порождала сомнение в эффективности любых рациональных доводов. Знаменательно, что лично для Ильенкова сама дискуссия, одним из инициаторов которой он оказался, стояла, по-видимому, под знаком этой социально предопределённой безуспешности.

В момент обсуждения «Тезисов о предмете философии» я ещё не был близко знаком с Эвальдом Васильевичем. Однако мне известно (известно, как говорится, «из первых рук»), что его состояние в те дни было удручённым и что вёл он себя стоически.

Я навсегда запомнил выражение лица Эвальда Ильенкова в момент, когда ораторы факультетского Учёного совета предъявляли ему свои обвинительные вердикты. Это был лик – лик мыслителя-мученика, осмеиваемого толпой «не ведающих, что творят».

В 1954 г. омолаживающая дискуссия о предмете философии не могла, пожалуй, вспыхнуть нигде, кроме философского факультета МГУ. Вместе с тем, ошибётся тот, кто поставит эту дискуссию в зачёт, в заслугу факультету. Факультет как учреждение просто проморгал её, а затем учинил запоздалую пугливую расправу над её инициаторами.

Ещё меньше оснований вменять в заслугу факультету распространение идей, родившихся и высказанных в ходе дискуссии. Идеи транслировались в формате слухов, вопреки факультетским предохранительным мерам, – наскоро, полулегально, а в наиболее сохранном виде – вместе с выпускниками факультета, по распределению прибывавшими в разные места. Какое-то кафедральное понимание и признание они получили лишь к концу пятидесятых годов – лишь после XX съезда партии, вызвавшего оживление научных и образовательных учреждений, политпросвещения и издательских редакций.

В стенах факультета проект философского обновления лишь чудесным образом родился. Теплицами же, где он выжил и начал осуществляться, стали, например, Институт психологии при Министерстве образования, философский факультет Ростовского университета, кафедра философии в Университете Алма-Аты.

Но главная доля, сколько-то защищённая от догматических заморозков, находилась на Волхонке, 14, – в здании, где помещался Институт философии АН СССР и редакция его печатного органа, журнала «Вопросы философии».

\* \* \*

Шестидесятые годы для меня – это прежде всего «Вопросы философии», а поколение шестидесятников – прежде всего их удивительный редакционный коллектив.

Два года, последовавших за XX съездом партии, оказались временем перехода журнала с шестиномерной на двенадцатиномерную систему. Воспользовавшись этой перестройкой, тогдашний ответственный секретарь редакции М.И. Сидоров (бывший офицер-фронтовик) сделал всё возможное, чтобы ввести в её состав способных аспирантов и выпускников философского факультета МГУ. В 1955–1965 гг. за редакционными столами «Вопросов философии» оказались А.Л. Субботин, И.В. Блауберг, И.Т. Фролов, М.К. Мамардашвили, Н.И. Лапин, Н.Б. Биккенин, Б.М. Пышков, И.Б. Новик, В.М. Садовский, А.П. Огурцов – молодые люди, которые узнали и профессионально признали друг друга ещё до прихода в журнал – в ходе факультетской дискуссии о предмете философии<sup>7</sup>.

Мне (я был принят на редакторскую работу осенью 1957 г., сразу по окончании университета) никогда позже не доводилось пребывать в коллективе со столь высоким индексом талантливости, увлечённости, смекалки и сплочённости.

Что же последовало за этим радикальным кадровым обновлением? Вызвало ли оно решительное изменение самой журнальной продукции, отозвавшееся затем в философских исследованиях и в преподавании диалектического и исторического материализма? Сделались ли «Вопросы философии» хоть сколько-нибудь подобными «Новому миру» А. Твардовского по силе влияния на советскую интеллигенцию? Или подобными «Вопросам литературы» середины 60-х гг. по характеру их воздействия на литературоведение? Или – таким же приютом и символом «шестидесятничества» (в философии), каким журнал «Юность» стал для молодого поколения поэтов, прозаиков, эссеистов?

На все эти вопросы приходится, к сожалению, ответить отрицательно. Центральный журнал не сделался (и не мог сделаться) успешным авангардом философской оттепели, поскольку силы догматического противостояния на этой идеологической площадке были ещё исключительно велики.

XX съезд партии застал на посту главного редактора «Вопросов» М.Д. Каммари – второразрядного представителя «сталинской философской гвардии», утвердившейся в расстрельные 30-е гг. Своим высоким положением Каммари был обязан паре брошюр, разъяснявших марксистско-ленинское понимание роли личности и масс в истории. Брошюры эти представляли собой панегирики, в которых, можно сказать, вся теория общественно-экономических формаций редуکتивно замыкалась на личность великого Сталина. Доклад, зачитанный Хрущевым на XX съезде, просто растаптывал эти тексты Каммари вместе с их автором<sup>8</sup>. Если бы этого не случилось, М.И. Сидорову вообще едва ли удалось бы провести решительное омоложение редакции.

В 1960 г. в кресло главного редактора «Вопросов философии» надолго сел академик М.Б. Митин – бывший сталинский фаворит, активный проводник партийно-идеологических чисток середины 30-х гг. Перед нами он предстал как крепко ушибленный догматик, уже никогда – даже в брежневское время – не позволявший себе поверить в сладкую грёзу о масштабном возврате к прошлому. В обращении с подчинёнными был тактичен, в работе

<sup>7</sup> Сегодня все они хорошо известны российскому философскому сообществу. Почти о каждом существует литература. В справке нуждаются, пожалуй, лишь Н.Б. Биккенин и Б.М. Пышков. Оба с середины 60-х гг. работали в аппарате ЦК; оба немало сделали для подготовки перестройки. Н.Б. Биккенин (1931–2007) был последним редактором журнала «Коммунист», и именно ему (вместе с О.Р. Лацисом) довелось оповестить страну и мир о самоликвидации КПСС.

<sup>8</sup> Данное обстоятельство тщательно замалчивалось. Однако где-то в начале 1957 г. Эвальд Ильенков поместил в стенной газете Института философии (впоследствии легендарной) рисунок убогого человека, взошедшего на трибуну. На Каммари он походить не мог (Каммари был горбун). Но и ни за кого другого человека этого принять было невозможно, потому что рисунок сопровождался примерно таким стихком: «Знаток первичности – вторичности, / С трибуны этой я сейчас / Вам расскажу о роли личности. / Тьфу, извиняюсь, ... роли масс».

с редколлегией домогался консенсуса и реалистических компромиссов. Об авангардной роли Митина в осуществлении «философской оттепели» не могло быть и речи.

Нельзя не отметить ещё и следующее: в редколлегии «Вопросов философии» (на их «верхнем этаже») до 1970 г. «философов-шестидесятников» просто не было<sup>9</sup>. Редколлегия (те, кто участвует в принятии решений) и редакция (те, кто делает журнал и живёт им повседневно) были поколенчески разделены – противостояли друг другу «по возрасту и по складу ума».

Таковы были предназначенные условия, в которые попала вновь собранная редакционная команда.

Решающую роль в ориентации этого – в общем-то, совершенно кружкового по духу – объединения играли представления, сформированные в аспирантско-студенческой среде конца пятидесятых годов.

Все мы, если говорить коротко, исповедовали понятие философии как строгой науки, способной, с одной стороны, оспаривать теоретически сомнительные идеологические штампы, с другой (это немаловажно) – свободной от комплекса неполноценности в отношении физики, биологии или политической экономии.

Понятие философии как строгой науки в нашем толковании конечно же весьма отличалось от понятия, предъявленного Э. Гуссерлем или Ф. Brentano. Оно опиралось на противопоставление идеологии и науки, как оно было очерчено в «Немецкой идеологии» К. Маркса и Ф. Энгельса, а также на концепт «научности», наработанный просвещением. Сопряжённое с нашим – ещё юношеским – оккультным отношением к образованию и науке, это понимание философии позволяло искусно обыгрывать сам двойственный статус журнала, который был в ту пору и одним из партийных («правдистских») изданий, и одним из органов Академии наук. Авторитет партийного издания использовался для повышения ответственности за теоретическое достоинство публикаций; авторитет академического – для давления научно-го дискурса на партийно-идеологический язык.

Историки отечественной философии советского времени часто сетуют на то, что в 60-е гг. живые, новаторские, провокативные публикации появлялись в этом издании крайне редко. Но кто посчитал, сколько демагогических, вульгарных, обскурантистских публикаций, завизированных порой самыми высокими авторитетами, блокировала тогдашняя редакция? Кто измерил энергию редакционного противостояния в отношении настоящей «Вандеи догматиков», которая после XX съезда вызревала в советской кафедральной философии и философски профилированном политпросвете?

И разумеется, молодая редакция делала всё возможное, чтобы стимулировать «новые идеи», привлекая для этого аргументацию Просвещения и отыскивая всё новые подсказки в марксистском теоретическом наследии.

С признательностью и восхищением вспоминаю в этой связи почти тридцатилетнее подвижничество Г.С. Гургенидзе – офицера-фронтовика старшего поколения, воевавшего с 1941 по 1944 г.

Геннадий Сардионович был прозелитом Л.С. Выготского и ценил его философски ориентированную психологию выше всего, что было сделано в советское время в самой философии. Из проблемного горизонта Выготского Г.С. Гургенидзе сумел ясно увидеть философский потенциал послевоенной отечественной психологии: не только А.Н. Леонтьева и С.Л. Рубинштейна, которые были прямыми преемниками Выготского, но и П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова, В.П. Зинченко, Я.Н. Пономарева, а также оригинальной физиологической концепции Н.А. Бернштейна. Соответствующий комплекс публикаций, взлелеянных и от-

<sup>9</sup> Исключение составлял лишь И.Т. Фролов, в 1959 г. вошедший в редколлекцию, так сказать, автоматически – в качестве нового ответственного секретаря редакции.

воёванных Г.С. Гургенидзе, по праву может быть причислен к «золотому фонду» «Вопросов философии»: они по сей день интересны и эвристически значимы. По сути дела, это была полноценная теория сознания, вмонтированная в проблематику психического.

Без всякого стыда за прошлое читаются сегодня многие статьи шестидесятых годов, вышедшие под рубрикой «философские вопросы естествознания». Журнал (здесь надо поминённо вспомнить И.Т. Фролова, Ю.В. Сачкова, И.Б. Новика, Ю.Б. Молчанова) терпеливо боролся за философское признание теории относительности и квантовой механики, а в деле реабилитации генетики постоянно опережал соответствующие публичные дискуссии.

Удивительным научно-публицистическим событием стали статьи М.А. Маркова, демонстрировавшие, что такое «сумасшедшие идеи в физике» (словосочетание, которое в ту пору впервые было легализовано). Марков предвосхищал парадоксалистски-катастрофическую парадигматику сегодняшней науки. Это было естествознание, от которого веяло «свободой продуктивного воображения» (в смысле Канта) и исследовательской свободой.

Вообще надо заметить, что в шестидесятнической практике журнала выражение «союз философии и естествознания» совершенно изменило свой смысл. Во времена Ленина – Сталина оно подразумевало философско-идеологический контроль над наукой, в описываемый же период – неумолимо работало на подчинение самой философии растущему (общественному и государственному) престижу естественных наук. Публикации «Вопросов» наносили чувствительные удары по апломбу ещё господствовавшего (кафедрального, ленинско-сталинского) диамата и внушали его представителям робость «лириков» в отношении «физиков».

Но что самое существенное, укрепление «союза философии и естествознания» припирало к признанию интернационального (более того – космополитического) характера научных достоверностей. Неудивительно, что и существование мирового философского сообщества впервые стало ощущаться в связи с проблемой «нашего отношения к философски влиятельным ученым-естественникам».

Летом 1961 г. состоялось памятное обсуждение статьи Норберта Винера «Ученый и общество». Это был первый со дня основания журнала немарксистский текст из-за рубежа. Вопрос о возможности его публикации исследовался редколлегией на протяжении двух дней. Ю.К. Мельвиль и М.К. Мамардашвили выстроили аргументы в пользу незамедлительного издания десятистраничного эссе, вышедшего из-под пера «отца кибернетики». Тему вертели так и этак и наконец снесли одним ударом: «А кто может поручиться, что статья эта не заслана нам Пентагоном?!» (Б.С. Украинцев). Тут бы, пожалуй, всё и кончилось, если бы не талейрановская находчивость тридцатилетнего И.Т. Фролова. В моей дневниковой записи его выступление звучит так:

«Мы были свидетелями острого спора. У противников статьи понятные мотивы и доводы. Но как пересказать их самому Норберту Винеру? Думаю, выход тут один. С честностью ученых, с принципиальностью коммунистов мы должны предоставить проф. Винеру полную стенограмму нынешнего обсуждения, без каких-либо изъятий. Надеюсь, он сам сумеет оценить весомость наших «за» и «против».

Деваться было некуда: в положенный срок статья увидела свет. Именно эта публикация положила начало расширяющимся контактам журнала с инославными зарубежными учёными и философами. В 1964 г. редколлегия приняла А.Дж. Айера, в конце шестидесятых в журнале побывали Ж. Пиаже и Ж.-П. Сартр.

Рассказывая обо всем этом, нельзя не уделить особого внимания И.Т. Фролову (1929–1999).

Хрущевская «оттепель» была временем оживления коммунистических ожиданий. В этом формате работало продуктивное воображение комсомольцев-энтузиастов, авторов

научно-популярной литературы, журналистов, писателей и поэтов. Иван Фролов исповедовал сциентистскую утопию коммунизма. Культ знания и науки, владевший послевоенным молодым поколением, стал выверенным мотивом и смысловым ядром его представления о будущем общественном устройстве. Коммунизм мыслился как общество наукоемкого производства, научно заданных технологий и научно доказанной хозяйственной и социальной политики. В дружеском кругу Иван, разойдясь, позволял себе напрямую мечтать о времени, когда Академия наук станет верификатором власти (на тогдашнем языке – признанным консультантом и экспертом ЦК). Вместе с тем он с предельной трезвостью воздерживался от декларирования подобных проектов в значении ну, хотя бы партийной «программы максимум». Научно верифицируемый коммунизм оставался сокровенным идеалом молодого Фролова. «Сверхзадачей», осуществление которой допускает любую отсрочку, но которая тем не менее является действующим стимулом «уже здесь и теперь». На мой взгляд, именно автономная «сверхзадача» питала удивительную целеустремлённость Ивана Фролова и помогла ему, никогда не опускаясь до приспособленчества, совершить на редкость успешную партийную и журналистски-организаторскую карьеру.

В 1965 г. Иван Тимофеевич покинул «Вопросы философии», научно-публицистическая инертность которых стесняла и блокировала его всё более масштабные сциентистские замыслы. Оправдывая этот уход, он не скупился на самоосуждения и осуждение коллег. Говорил, что наша работа – это давно уже пустая трата времени, а «Вопросы» давно не справляются даже с задачами элементарного философского просвещения.

Фролова трудно было оспорить, и всё-таки, на мой взгляд, он был не вполне прав.

Позволю себе выразиться так: обновлённой редакции «Вопросов философии» не удалось обратить читателя «в свою веру». Философское сообщество – по преимуществу кафедральное – ещё оставалось далёким от убеждений, которые мы исповедовали и умели отстаивать.

Но нельзя упускать из виду другое немаловажное обстоятельство: шестидесятые годы были временем формирования новой творческой элиты философов. На научно-публицистическом небосклоне появились незнакомые «философские звезды», образующие, как это ни удивительно, «единое созвездие». Это были очень разные, но равно нестесненные оригинальные авторы, которые быстро завоёвывали признание и известность.

К формированию этой творческой элиты обновлённая редакция «Вопросов философии» была прямо причастна.

Прежде всего хочу обратить внимание на то, что «философскими звёздами» вскоре суждено было стать некоторым из сотрудников редакции.

«Вопросы философии» могут считаться местом рождения системно-комплексного анализа. Основы этой методологической дисциплины, чрезвычайно влиятельной в 70–80 гг., да и сегодня ещё подновляемой, заложили И.В. Блауберг, В.Н. Садовский и Э.Г. Юдин<sup>10</sup>.

В лоне внутриредакционных дискуссий вызрели первые заготовки замечательной книги Н.И. Лапина «Молодой Маркс». Будучи опубликованной в 1968 г., она выдержала три издания, увлекла тысячи читателей и в 1983 г. была удостоена Государственной премии.

Наконец, «звездой первой величины», усмотренной на философском небосклоне в 70–80-х гг., стал М.К. Мамардашвили. В 1957–1961 гг. он, будучи сотрудником редакции «Вопросов философии», завершал работу над кандидатской диссертацией «Гегель о формах познания». Именно тогда Мераб впервые увидел и свою следующую (долгосрочную) ключе-

<sup>10</sup> Блауберг и Садовский входили в штат редакции, а Эрик Григорьевич Юдин был зачислен в неё на полставки после освобождения (он был арестован по политическим мотивам уже в хрущевское время). О зачислении Юдина ходатайствовал акад. Б.М. Кедров, а согласие на него дал акад. М.Б. Митин.

вую тему: анализ сознания в работах Маркса. В «Вопросах философии» появилась первая, посвящённая ей публикация [Мамардашвили 1968].

Но главное участие редакции «Вопросов философии» в формировании новой творческой элиты заключалось, разумеется, в её работе с авторами.

Публикация новаторского текста была нелёгким делом. Можно вспомнить немало случаев, когда автор и редактор превращались в долгосрочных соратников по одолению редколлегии. При этом их плодотворное общение не прерывалось и тогда, когда статья отклонялась. Встречи и переписка продолжались. Многие авторы признавались впоследствии, что работа с редакторами «Вопросов» стала для них «второй аспирантурой».

Подготовка журнальных публикаций помогла, к примеру, Нелли Мотрошиловой определиться в новой для неё социологии знания<sup>11</sup>; Олегу Дробницкому – в его критическом интересе к историцизму; Борису Ерасову и Мариетте Степанянц – в поисках цивилизационного подхода к проблематике «третьего мира». В постоянном контакте с редакцией находились сотрудники тогдашнего сектора диалектического материализма, возглавляемого В.А. Лекторским.

\* \* \*

В конце 50-х – начале 60-х гг. кадровое омоложение претерпел и Институт философии РАН. Сюда пришло более десятка аспирантов и выпускников философского факультета МГУ, разбуженных и сплочённых дискуссией о предмете философии. Они образовали ядро наиболее увлечённых и творческих исследовательских групп. К концу 60-х гг. многие из них стали лидерами философского обновления.

Юрий Левада оказался основоположником отечественной социологии религии. Книга Олега Дробницкого «Понятие морали» стала первой монографией, достойной называться теорией этики. Генрих Батищев и Юрий Давыдов прорубили марксистское окно в философскую антропологию. Наль Злобин и Вадим Межуев, творчески интерпретировавшие Марксовы понятия «духовного производства» и «свободного времени», проторили тропу к философской культурологии. Сотрудники сектора, возглавляемого Владиславом Лекторским, нанесли серьёзные удары по догматической аранжировке «ленинской теории отражения». Материалистическая эпистемология была поставлена на базис теории деятельности.

В Институте философии нашли пристанище и Ильенков с Зиновьевым, удалённые с философского факультета МГУ. Свой авторитет у молодёжи они сохранили и упрочили.

Это вовсе не означало, однако, что они пользовались авторитетом у руководства института. В 1954 г. его партийная организация и Учёный совет сурово осудили дискуссию о предмете философии, состоявшуюся на философском факультете МГУ. В 1955 г. Э. Ильенков обратился за поддержкой к Пальмиро Тольятти (руководителю итальянской коммунистической партии) и к видному болгарскому философу Тодору Павлову. У руководства возникло опасение, что нежелательная дискуссия о предмете философии может приобрести международный характер. Ильенков оказался под угрозой партийной расправы и увольнения; Зиновьев был поставлен под подозрение (на всякий случай).

Ситуация изменилась лишь после XX съезда партии.

В 1960 г. одновременно увидели свет монографии Э. Ильенкова «Диалектика абстрактного и конкретного в „Капитале“ Маркса» и «Комплексная логика» А. Зиновьева.

Но вот что существенно: именно с этого времени лидеры философского обновления, начавшегося в 1954 г., расходятся во взглядах. Ильенков продолжает работу над разъяснением «диалектической логики»; Зиновьев отказывается от этой затеи как от соблазна молодого

<sup>11</sup> Я имею в виду её работы начала 70-х гг., которые содержали социокультурный анализ философии и науки Нового времени и быстро стали известными.

сти и посвящает себя современным логическим исследованиям, которые в советской философии пренебрежительно причислялись к логике «формальной».

Размежевание Зиновьева и Ильенкова, прослеживаемое в его развитии, весьма интересно для сегодняшних споров и ориентаций. Оно предвосхищает оппозицию, довлеющую в современной «западной философии». Я имею в виду противостояние англо-американской (аналитической) и континентально-европейской философской традиции (последнюю, на мой взгляд, можно предварительно определить как герменевтико-гуманитарную).

Логик Зиновьев достаточно определённо (настолько, насколько это позволяли идеологические ограничения советского времени) обозначил свою причастность к аналитической традиции. Эвальд Ильенков до конца жизни сохранял верность «логике “Капитала”», но при этом двигался в герменевтико-гуманитарном направлении: сперва продумывал понятие идеального, затем – эзотерические проблемы философской педагогики, а в последние годы жизни проявлял заметный интерес к возможностям построения систематически-целостной эстетики.

Я думаю, полемика Ильенкова и Зиновьева могла бы дать очень многое, если бы им удалось ввести её в режим взаимодополнительности (комплементарности). К сожалению, этого не случилось. Общение вчерашних офицеров-фронтовиков делалось всё более конфликтным и в конце концов обострилось до нетерпимости.

\* \* \*

Я довёл мой мемориальный очерк до 1967 г., до момента моего ухода из журнала. Переступить за эту черту не входит в мои задачи. «Шестидесятники в шестидесятых» – таково заранее определённое временное пространство предложенных вам исповедальных свидетельств.

К концу 1967 г. редакция журнала, обновлённая М.В. Сидоровым, уже сильно поредела и вскоре должна была совсем расточиться.

Мы покидали «Вопросы», хорошо усвоив неписанный нравственно-интеллектуальный кодекс своего поколения.

В замечательном докладе, который А.А. Гусейнов сделал 12 мая 2019 г. на юбилейном собрании Института философии РАН, он определялся как «этос шестидесятников».

Большой интерес представляет рассуждение Гусейнова о трёх главных выражениях этого этоса, а именно:

- понимание занятий философией как высокой общественной миссии и изначально просвещенческая интенция ключевых философских текстов;
- нацеленность на высокий профессионализм и как следствие – возросшая компетентность и уважение к аргументации, с чем после XX съезда уже нельзя было не считаться;
- освобождение от карьерных амбиций, превышающих возможность заниматься философией.

Впереди нас ждал переломный 1968 г. Чем стали философы-шестидесятники, преступив этот исторический рубеж, – об этом, я думаю, лучше меня могут рассказать свидетели последующих поколений, согласившиеся участвовать в настоящем издании.

Я же позволю себе лишь очертить данную проблему в итоговом размышлении, выполненном в формате «свободного разговора об установках и понятиях».

\* \* \*

Пожалуй, самое существенное во всем ранее сказанном состоит в следующем: послевоенное братство отцов и детей («лейтенантов ВОВ» и «школьников-медалистов») – таково отношение поколений, которое сделало возможным важнейшее событие философских шести-

десятих годов – дискуссию о предмете философии, случившуюся ещё в 1954 г. В чем заключался основной импульс, который эта дискуссия послала в советскую философию? На мой взгляд, его можно определить как признание высшего авторитета К. Маркса, как «марксопочитание».

XX съезд не мог не породить решительного противопоставления марксизма-ленинизма и сталинизма, и оно достаточно активно отстаивалось всеми интеллигентами-шестидесятниками. Но наряду с этим противопоставлением – в тылу его – существовала и завоёвывала умы поначалу неуверенная, но потом всё более осознанная собственно философская позиция, а именно – противопоставление теоретического наследия Маркса ленинско-сталинскому образу мысли. Она оттачивалась и укреплялась вплоть до 1968 г. (до ввода советских войск в Чехословакию и взлёта диссидентского движения). Затем, как правило, следовал отказ от марксизма и оригинальная проработка возможностей, открывавшихся в иных философских и социологических концепциях.

Последним всполохом «марксопочитания» было, на мой взгляд, оживление интереса к понятию «азиатский способ производства», которое овладело советскими историками и философами в конце шестидесятых – начале семидесятых годов<sup>12</sup>. За этим последовало от-важное, но уже запоздалое теоретическое усилие сектора исторического материализма Института философии АН СССР, возглавлявшегося ветераном Отечественной войны В.Ж. Келле. Речь шла о возрождении глубинного и полного смысла Марксовой теории общественно-экономических формаций [Бородай, Келле, Плимак 1974]. Плодотворная работа была пресечена на её высшем подъёме, в 1975 г.

В литературе последних лет в характеристиках «философов-шестидесятников» всё чаще употребляется понятие неомарксисты. Попытаюсь разъяснить, как я понимаю данный термин.

И марксист, и неомарксист относятся к наследию Маркса как к живому, творческому учению. Различие между ними состоит в следующем. Марксист спрашивает себя: как Маркс оценил бы события – общественные образования, общественные процессы, – которые мы наблюдаем сегодня? Неомарксист добавляет к этому другой вопрос: как Маркс изменил бы свои суждения и оценки, даже, возможно, всю свою теорию, если бы знал нашу современность и имел представление об обусловивших её социальных процессах, в которых сам марксизм как доктрина работал и использовался? Неомарксист допускает, что Маркса, как и любого мыслителя прошлого, можно понять лучше, чем он сам себя понимал. И как раз поэтому неомарксист не связывает себя школьно-направленческой причастностью к Марксу, позволяя себе соединять концепцию Маркса с другими философиями и даже ставить её на базис других философий.

Некоторые из советских философов-шестидесятников, правда уже в 70-е и далее – в 80-е гг. пошли именно этим путём. Не теряя уважения и преданности в отношении Маркса, признавая его величайшим и незаменимым мыслителем XIX в., они встраивали свободно истолкованные Марксовы идеи во вновь открытые проекты философствования.

\* \* \*

В годы начинающегося застоя движение от творческого освоения марксизма к неомарксизму и далее – к немарксистским философским ориентациям проделывают многие философы-шестидесятники. Я претерпеваю его в контакте, в сотворчестве с Мерабом Мамардашвили и Владимиром Швыревым.

---

<sup>12</sup> Самой читаемой из работ, которые вышли из-под их пера, надо признать книгу М.А. Виткина [Виткин 1973].

В 1970–1971 гг. в «Вопросах философии» появляется публикация, известная у нас в России под названием «статья трёх авторов» [Мамардашвили, Соловьев, Швырев 1970; 1971]. Н.В. Мотрошилова называет её «одним из ярких философских документов советского времени» и напоминает об «огромном успехе этой публикации в 70-е годы» [Мотрошилова 2012: 269].

Зачинщиком и основным автором философского бестселлера был Мераб Мамардашвили. «Он мастер, мы – всего лишь подмастерья», – говорили мы со Швыревым.

Статья решительно противостояла философскому официозу. Противостояла не только своим дискурсом (свободным, местами – предумышленно сложным), но и тем, о чем мы, её создатели, отказались говорить.

Первая часть статьи появилась в 1970 г., когда страна отмечала столетие со дня рождения Ленина и тогдашний министр культуры Е.В. Фурцева грозила наказанием за всякую идеологически ответственную публикацию, не упоминающую об исторических заслугах вождя. В «статье трёх авторов» имя Ленина отсутствовало и не было ни одной ссылки на ленинские сочинения. «По умолчанию» Маркс признавался единственным «классиком марксизма».

Три автора с самого начала согласились в том, что философски значимым, но никогда всерьёз не продумывавшимся компонентом Марксова наследия является анализ «предметных кажимостей», объективных видимостей, порождаемых экономической жизнью. Во втором и третьем томе «Капитала» они подведены под понятие «превращённые формы» (*die verwandelte Formen*). В публикациях 1968–1969 гг. Мамардашвили предложил трактовку этого понятия, которую можно без оговорок считать неомарксистской. Применительно к «превращённым формам», намекал и подсказывал он, речь должна идти не о сознании, которое надстроено над бытием, «вторично» по отношению к бытию (такова догма марксистской гносеологии), а о сознании, встроенном в бытие.

В «статье трёх авторов» отношение к сознанию, встроенному в бытие, стало критерием для оценки философских учений Нового времени (для критики всей эволюции «буржуазной философии», – иначе в ту пору просто нельзя было выразиться). Учения эти были разделены на две «философских формации»: «классику» и «современность». Первая, ключом к пониманию которой является Декартово *cogito*, упрекалось за неспособность разглядеть проблематику, обозначенную понятием «превращённых форм»; вторая (философия жизни, герменевтика, психоанализ) – за неумение рационально освоить эту проблематику. Состояние «современной буржуазной философии» трактовалось в итоге как проблемно-цивилизационный вызов, обращённый к недогматическому марксизму. – Как комплекс задач, ожидающих его решения.

Важно, далее, что само наше противопоставление «классического» и «современного» («постклассического») было созвучно оппозиции «модерна» и «постмодерна», которая в ту пору только начинала обсуждаться во Франции.

«Статья трёх авторов» вызвала небывалый интерес у молодого поколения советских философов. Многие мемориальные тексты свидетельствуют о том, что знакомство с ней оказывалось причиной радикальной мировоззренческой «мыслеперемены».

А как чувствовали себя сами авторы?

Завершив работу над статьёй, мы увидели, что расстаёмся с марксизмом. Мераб приступил к проработке оригинальной версии экзистенциальной философии. Владимир и я устремились... «вперёд, к Канту!».

\* \* \*

Тему философского поколения, просвещённого войной, я задал себе уже давно. Она родилась вместе со стихотворением, которое я сочинил четверть века назад и впервые опубликовал в Екатеринбурге, городе моих школьных лет<sup>13</sup>.

### Шинель

*Э. Ильенкову и А. Зиновьеву*

На факультете пропадали  
 Послевоенные мальчишки,  
 И пропадали их медали  
 И их снобистские замашки,  
 Но в раздевалке, где висели  
 Послевоенные пальтишки,  
 Вдруг появились две шинели —  
 Шинели Эвальда и Сашки.  
 Они по опыту отцы нам,  
 Они по возрасту — братишки.  
 Они свободы образцы нам  
 Перед лицом муштры и слезки.  
 Иные шутки зазвенели,  
 И начались иные книжки,  
 И в семинарах под шинелью  
 Созрели крепкие орешки.  
 Мы были — в бурсе лицеисты,  
 Самоуправные студенты,  
 Земного бога атеисты  
 И трудоголики в шарашке.  
 Внутри марксистской цитадели  
 До диссидентства диссиденты  
 С тех пор, как вышли из шинели —  
 Шинели Эвальда и Сашки.

Это стихотворение вполне могло бы публиковаться в качестве аннотации к мемориальному очерку, который я завершаю. С одной, правда, существенной оговоркой: оно запрашивает сверх того, что в этом очерке уже сделано.

Стихотворение, если разобраться, требует: более обстоятельного рассказа об испытаниях войны; разъяснения парадоксальной аллегории-дефиниции, которую я наложил на поколение «философов-шестидесятников»: «до диссидентства диссиденты»<sup>14</sup>; расшифровки понятия «атеисты земного бога», а это значит – рассказа о преодолении культа Сталина в 50–60-е гг.

<sup>13</sup> В озорном альманахе с причудливым названием «Дискурс Пи». См. также: Наш философский дом 2009: 456.

<sup>14</sup> Хочу предупредить: аллегория эта вовсе не предполагает зачисления «философов-шестидесятников» в категорию «советских диссидентов», как она трактуется в энциклопедиях и справочниках. Здесь я во многом согласен с А.А. Гусейновым [см.: Гусейнов 2022: 67]. «Философы-шестидесятники» не принадлежат истории советского диссидентства. Вместе с тем это оригинальные и значимые фигуры его предыстории, для понимания которых важны, между прочим, не только расхожие политологические характеристики, но и толкования понятия диссидент в религиозоведческой (экклесиологической) литературе.

Но именно этим я и хотел бы заняться в ближайшем будущем.

Надеюсь также хоть немного поговорить об иронии и юморе «философов-шестидесятников», к формированию которых я, грешный, оказался причастен.

Ирония – это повседневный естественный климат неформальных оппозиционных сообществ. Объединения «ильенковцев» и «зиновьевцев» (Борис Грушин – с подачи Ильфа и Петрова – аттестовал их как «диастанкуров», «диалектических станковистов») просто немыслимы без иронии. И надо считать «знаком судьбы» (явлением знаменательным и симптоматичным), что вчерашние «лейтенанты ВОВ» – Эвальд и Сашка, люди совершенно разного умственного склада, были равно одарены одним и тем же талантом. Оба вдохновляли и настраивали на борьбу как первоклассные карикатуристы и острословы.

---

Александров В.Я. 1993. *Трудные годы советской биологии. Записки современника.* – СПб.: Наука.

Батыгин С.С., Девятко И.Ф. 2009. Трудные послевоенные годы. – *Наш философский дом. К 80-летию Института философии РАН.* – М.: Прогресс-Традиция. – С. 211–232.

Бородай Ю.М., Келле В.Ж., Плимак Е.Г. 1974. *Наследие К. Маркса и проблемы теории общественно-экономических формаций.* – М.: Политиздат.

Виткин М.А. 1973. *Восток в философско-исторической концепции К. Маркса и Ф. Энгельса.* – М.: Наука.

Гусейнов А.А. 2022. Философия шестидесятников как общественное явление. – *Политическая концептология: журнал метадисциплинарных исследований.* – № 3. – С. 62–84.

Дискуссия по книге Г.Ф. Александрова... 1947. Дискуссия по книге Г.Ф. Александрова «История западноевропейской философии». Стенографический отчет. – *Вопросы философии.* – № 1. – С. 376–377.

Дубровский Д.И. 2020. Великая Отечественная. Правда и мифы в размышлениях участника войны. – *Человек и война / Отв. ред. С.А. Никольский.* – М.: Голос. – С. 16–67.

Зиновьев А.А. 1960. *Философские проблемы многозначной логики.* – М.: Наука.

Ильенков Э.В. 1960. *Диалектика абстрактного и конкретного в «Капитале» Маркса.* – М.: Наука.

Каверин В. 1980. *Собр. соч. Т. 1.* – М.: Художественная литература.

Мамардашвили М.К. 1968. Анализ сознания в работах К. Маркса. – *Вопросы философии.* – № 6.

Мамардашвили М.К., Соловьев Э.Ю., Швырев В.С. 1970–1971. Классическая и современная буржуазная философия (опыт эпистемологического сопоставления). – *Вопросы философии.* – 1970. – № 12; 1971. – № 4.

Мотрошилова Н.В. 2012. *Отечественная философия 50–80-х годов XX века и западная мысль.* – М.: Академический проект.

Наш философский дом... 2009. *Наш философский дом.* – М.: Прогресс-Традиция.

Свирский В. 1972. *Откуда вы, герои книг? (Очерки о прототипах).* – М.: Книга.

Соловьев Э.Ю. 2018. Молодой Лютер и его Виттенбергские тезисы. Часть первая. – *Вопросы философии.* – № 12. – С. 102–110.